

больше он вникал в их жизнь, прошлую и настоящую, тем больше он любил их и «тем легче мне самому становилось жить». Что же касается жизни людей его собственного круга — богатых и ученых (а вращался он в круге Каткова, Фета и подобных господ), — она ему «не только опротивела, но потеряла всякий смысл». Он понял, что если он не видел цели жизни, то причиной этого была его собственная жизнь «в исключительных условиях эпикурейства», заслонявшая пред ним правду.

«Я понял, — продолжает он, — что мой вопрос о том, что есть моя жизнь, и ответ: зло — был совершенно правилен. Неправильно было только то, что ответ, относящийся ко мне только, я отнес к жизни вообще: я спросил себя, что такое моя жизнь, и получил ответ — зло и бессмыслица. И точно, моя жизнь — жизнь потворства, похоти — была бессмысленна и зла, и потому ответ: «жизнь зла и бессмысленна» — относится только к моей жизни, а не к жизни людской вообще». Далее Толстой указывает, что даже все животные трудятся для продолжения своей жизни. «Что же должен делать человек?» — спрашивает Толстой и отвечает: «Он должен точно так же добывать жизнь, как и животные, но с тою только разницей, что он погибнет, добывая ее один, — ему надо добывать ее не для себя, а для всех...» «Я не только не добывал жизни для всех, я и для себя не добывал ее. Я жил паразитом, и, спросив себя, зачем я живу, — получил ответ: ни за чем».

Таким образом, убеждение, что он должен жить, как живут миллионы людей, зарабатывающих на жизнь трудом, что он должен работать, как работают эти миллионы, и что такая жизнь является единственным возможным ответом на вопросы, которые привели его в отчаяние; единственным путем, идя по которому можно избежать тех ужасных противоречий, которые заставили Шопенгауэра проповедовать самоуничтожение, а Соломона, Сакья-Муни и других приводили к проповеди отчаянного пессимизма, — это убеждение спасло Толстого и возвратило ему утраченную энергию и волю к жизни. *Но именно эта идея вдохновила тысячи русских юношей в те же годы и создала великое движение «хождения в народ — слияния с народом».*

Толстой рассказал нам в замечательной книге «Так что же нам делать?» о впечатлениях, которые на него произвел «босаяцкий» квартал Москвы в 1881 году, и о влиянии, которое эти впечатления имели на дальнейшее развитие его мыслей. Но нам еще неизвестно до сих пор — каковы были факты и впечатления действительной жизни, которые заставили его в 1875—1881 годах с такой остротой почувствовать пустоту той жизни, которую он до тех пор вел. Не будет ли с моей стороны большой смелостью — сделать предположение, что то же движение «в народ», которое вдохновило столько русских юношей и девушек идти в деревни и на фабрики и жить жизнью трудящегося народа, заставило и Толстого, в свою очередь, задуматься над своим положением в роли богатого помещика?

О том, что он узнал об этом движении, — не может быть ни малейшего сомнения. Судебный процесс нечаевцев в 1871 году был напечатан во всех русских газетах, и всякий, несмотря на всю юношескую незрелость речей обвиняемых, легко мог усмотреть высокие идеалы и любовь к народу, которые вдохновляли их. Процесс долгушинцев в 1875 году произвел еще более глубокое впечатление в том же направлении; а в особенности процесс (в марте 1877 года) высоко идеальных девушек, Бардиной, Любатович, сестер Субботиных — «московских пятидесяти», как тогда называли в кружках, — девушек, принадлежавших к богатым семействам, и которые, несмотря на это, вели жизнь простых рабочих девушек, жили в ужасных фабричных казармах, работая по 14—16 часов в день, перенося всевозможные тягости единственно для того, чтобы жить вместе с рабочими и иметь возможность учить их... И наконец, — процесс «ста девятина трех» и Веры Засулич в 1878 году. Как бы ни была велика нелюбовь Толстого к революционерам, все же, читая отчеты об этих процессах, слыша разговоры о них в Москве и Туле и наблюдая впечатления, которые они производили, он, как великий художник, должен был почувствовать, что эти юноши и девушки были ближе к нему, каким он сам был в 1861—1862 годах, до обыска и разгрома в Ясной Поляне, по сравнению с людьми катковского лагеря, среди которых ему теперь приходилось вращаться. Наконец, если бы даже он совсем не читал отчетов об этих процессах и не слышал о «московских пятидесяти», он читал «Новь» Тургенева, которая была напечатана в январе 1877 года; он знал, как молодежь восторженно отнеслась к Тургеневу за «Новь», несмотря на все ее недостатки; и если бы он руководился только этим, далеко несовершенным, изображением народнического движения, он мог бы уже понять идеалы тогдашней русской молодежи; мог понять, почему она была бесконечно ближе к его идеалу, Руссо, чем был он сам, с тех пор, как забросил идеалы своей юности.

Будь Толстой сам двадцатилетним юношей, весьма вероятно, что он примкнул бы в какой-нибудь, той или иной, форме к движению, несмотря на все препятствия, стоявшие на его пути. Но в его лета, в его обстановке, и в особенности когда ум его был занят вопросом «Где тот рычаг, которым